

ДМ. ПЕТРОВСКИЙ

ПОВЕСТЬ О ХЛЕБНИКОВЕ



БИБЛИОТЕКА „ОГОНЕК“

№ 162

АКЦ. ИЗДАТ. О-ВО „ОГОНЕК“

МОСКВА—1926

ДМИТРИЙ ПЕТРОВСКИЙ

ВОСПОМИНАНИЯ
О ВЕЛЕМИРЕ ХЛЕБНИКОВЕ

Акц. Издат. О-во „ОГОНЕК“
Москва—1926

Главлит 66593.

Тираж 10000.

Учебная Типография ЦДКВРМ, пл. Коммуны, 2.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Сейчас на прилавках книжных магазинов появились странные книги.

Вот Дмитрий Петровский называет свои воспоминания о Велемире Хлебникове—повесть.

А читатель сам читает, как повесть, и художественно обработанную Юрием Тыняновым биографию Кюхельбекера, и книгу о путешествиях.

Факты переживаются эстетически. Художественная вещь может сейчас и не иметь сюжета.

Лучшее, что из многого хорошего написал Максим Горький за последнее время—это его „Отрывки из записной книжки“.

То, что было черновым материалом для художника, стало самим художественным произведением.

Как будто раньше промывали какую-то руду на золото, а сейчас на радий.

Особенно стоило написать такую сегодняшнюю повесть о Велемире Хлебникове.

От Хлебникова произошли, как поэты: Маяковский, Асеев, Пастернак, Николай Тихонов и, конечно, Петровский.

Самые цельные, самые традиционные поэты, как Есенин, тоже переменялись от влияния Хлебникова.

Он писатель для писателей. Он Ломоносов сегодняшней русской литературы. Он дрожание предмета — сегодняшняя поэзия—его звук.

Читатель его не может знать.

Читатель, может быть, его никогда не услышит.

Коснитесь рукой повести Петровского. Вы ощупью почувствуете дрожание.

Судьба Хлебникова доходчивей, понятнее его стихов.

Поэтому повесть Петровского звучит дважды оправданно.

Виктор Шкловский.

ВОСПОМИНАНИЯ О ВЕЛЕМИРЕ ХЛЕБНИКОВЕ

Где-то есть мать, которой никогда не пишешь и будто не думаешь. И вот в один день тебе скажут: нет ее.

Так я остановился у косяка случайной станции и согнул плечи от охватившего меня сиротства.

Я увидал: „В. Хлебников“ в черном, тонком ободочке и не читал дальше. И номер „Красной Нови“ не захотел купить.

Я сел и, погруженный, окаменевший, долго перелистывал следы скитаний. И эта смерть звучала мне каким-то злым предупреждением.

Встретился я с Велемиром Хлебниковым неожиданно, хотя знал и любил его уже два года до этого. Знал также, что встречусь непременно и потому не прилагал к тому никаких усилий.

Это случилось у С. Вермеля, издателя „Московских Мастеров“. Еще за час до прихода я мог следить за Велемиром в том пространстве, где он блуждал.

В шесть часов он должен был быть. Как музыкальная прелюдия к выходу героя, в семь часов звонок по телефону, и голос Хлебникова откуда-то из взмятеленной Москвы сообщал, что он заблудился, что он

на Садовой. Через полчаса опять звонок: он на Сре-тенке и, наконец, минут через пятнадцать звонок у двери.

Хлебников снимает галоши, характерным, ему одному свойственным движением встряхивается, фыркает, смотрит детскими оснеженными глазами и громадными, осторожными шагами „пумы“ входит в кабинет, заноса с собой какую-то особенную, облегающую его атмосферу громадного пространства. Казалось, на плечах Велемира лежит этот „Великий Мир“—Великий Мир—космическое.. Вспомнилась сказка Жакова о том, как болид слетает на землю в виде юноши.

Был это январь 1916 года. Перед этим, как-то вскоре после нового года, в петроградской квартире Бриков Хлебников был провозглашен королем поэтов.

Тогда только вышел „Взял“ (декабрь 1915 г.), где были напечатаны новые вычисления Хлебникова „Буги на небе“. Все это—еще необыкновенно свежее—если и не было достаточно обосновано в строго научном смысле и не могло быть использовано в каком-нибудь жизненном приложении, зато открывало новое блаженство чувствовать и сознавать себя значущей сложной частью, бесконечно сложной формулы космоса.

Жил он в Петровском парке, и завтра же мы условились с ним встретиться.

На завтра утром нашел я в конце Петровского парка флигель, где жил Велемир вместе с братом.

Комната была, как набережная после непогоды на море, когда вскружаются чайки и бумажки и их не различишь. Белые клочки сидели буквально на чем только можно: на шкафах, шторах, спинках стульев, на полу, на подоконниках.

Хлебников был доволен. Он ходил среди своего волшебного царства, как великан среди карточных домиков, и смеялся, фыркал, и смеялся, как ребенок. Голос у него был до странности неожиданный для большого человека: высокий, детский, какой-то закругленный, похожий разве только на его почерк — губы его скорее вышептывали, чем выговаривали слова.

Разговор сначала шел об украинских песнях, думах и языке, который мы оба любили. Хлебников, по матеру украинец, родился на Волыни, чем и объясняется большое количество производных от украинских корней слов в его творениях. Украинский язык, оставшийся до сего времени более непосредственным и свежим, сохранившим еще звуковую символику, был необходим Хлебникову, занятому в то время изысканиями в области языка. Он тотчас же извлек пользу из моего знания украинского языка и предложил работать с ним над „таблицей шумов“, как он называл азбуку, пренебрегая гласными, которые были, по его мнению, женственным элементом в речи и служили лишь для слияния мужественных шумов. Присутствовать хотя бы в качестве фамулуса в лаборатории, где искался камень мудрецов,—я с радостью согласился.

Было в манерах Велемира что-то от танца, о котором мечтал Ницше: „Выше подымайте сердца ваши, но не забывайте также и ног“. В равной степени отнесилось это также и к лицу Велемира. Сосредоточенная мрачность, ограждавшая, как маска, его духовный мир, готова была мгновенно расцвести в улыбку, разрешающую и рождающую, когда он оставался один и находил (Эврика!..) или когда разговор сводился на интересовавшие его темы, в сфере кото-

рых постоянно находился его бодрствующий, творящий ум.

С этих пор повелось у меня за правило ездить к Хлебникову по утрам и бродить с ним до ночи. — Совсем поздно усаживал я его на трамвай № 9 у Страстного монастыря и уже вскочившего на подножку трамвая преследовал неистощимыми вопросами.

Тут часто происходила такая сцена.

Хлебников снимает для прощания перчатку и свободной от перчатки правой рукой берет за ручку трамвая и, не перенося холода, отдергивает ее, выпуская из рук металлический прут.

Ждем следующего и, — так как прощаться приходится в самую последнюю минуту и Хлебников хватает прут незащищенной рукой, — повторяется несколько раз то же самое — Хлебников остается.

Трамваи перестают ходить. Я решаюсь сказать ему это.

— Проще всего было идти пешком, — спокойно отвечает Хлебников — в ходьбе он был неутомим.

— Я провожу вас.

Я провожал его, как и следовало, до самого конца линии — верст 15 и возвращался к себе на Арбат, когда уже серело. Грохотали извозчики. Я не жалел. Хлебников тоже, кажется. Он просто не замечал этого.

Собрались мы как-то к о. Павлу Флоренскому.

Здесь надо оговориться. Виктор Владимирович зложил начало обществу „317“ — это одно из его мигических чисел. 317 плюс — минус 48 равно 365, числу дней в году, единице времени, году, земли и т. д. (см. сборник „Войны“ „Временник“ № 4 и др. *).

*) 48 — число, найденное Хлебниковым, как число сил земли (см. „Союз молодежи“, сборн. 3, „Разговор учителя и ученика“).

317 было числом Председателей Земного Шара. Я вступил в их число одним из первых и вышел только в 1917 году, когда Хлебников обратил его в кунсткамеру, записывая в Председатели то Вильсона и Керенского, то Али-Серара и Джуги только потому, что это были первые арабы или абиссинцы, каких он встретил, то христианских братцев из Америки: м-ра Девиса и Вильяма.

„Общество быстро развивается и крепнет“, пишет в это время Хлебников, „особенно живописна подпись Али-Серара“ („Временник“ № 4, изданный Василиском Гнедовым). Это об'яснялось стремлением Хлебникова к идее интернационала, а также говорило о широте его плана, когда он вводил туда такое разнообразие индивидуальностей, профессий, наций, дарований. Он знал, конечно, что это далеко от „настоящего“, от истинных Председателей и занимался скорее этим, как игрой. Это было важно для него, как знак в будущее, как пророчество—и все средства и фигуры в игре были хороши.

Однако, возвращусь к первому дню существования „317“. Собрались на Воздвиженке, где жил тогда Золотухин.

Что это были за великолепные вечера у Золотухина!

Мы доставляли сырой материал наших работ над шумами (Золотухин потом тоже присоединился к работе), а Хлебников потом едва касался их и из сырой земли всходили, и на глазах зацветали живые ростки и цветы, и лицо его при этом тоже зацветало.

Золотухин говорил:

— Я уверен, если бы свесить в этот момент Хлебникова, — вес его должен быть меньше обычного! —

таким одухотворением дышала вся его громадная фигура.

В то же свежее время Хлебников еще верил в реальное значение своего общества, он надеялся путем печати и корреспонденции привлечь в общество лучших людей своего времени и, установив связь по всему земному шару, диктовать правительствам Пространства.

„Захватить в руки Государства Времени лучших людей.

И, таким образом, заставить Государство Пространства считаться с Государством Времени“. (Из его письма).

Хлебников даже мечтал иметь центральную станцию, где бы могли происходить „слеты“ 317, а также совещания путем телефонов, радио и прочее. Место постройки этой станции он намечал на одном из островов Каспийского моря, куда мы с ним однажды из Астрахани должны были поехать, захватив с собою опытного инженера-архитектора, который после должен был представить проект постройки такой усовершенствованной станции; за отсутствием „инженера“ поездка не состоялась.

Итак, Хлебников решил предложить вступление в „317“ некоторым, по его мнению, близким „идее Государства Времени“ лицам, в том числе Вячеславу Иванову и о. П. Флоренскому.

В этот же вечер — 29 февраля 1916 г., в Касьянов день, отправились мы вдвоем с Хлебниковым к Вячеславу Иванову. Кажется, он дал свою подпись на опросном клочке Хлебникова, во всяком случае, вечер провели хороший и серьезный.

Вячеслав Иванов любил и ценил Хлебникова, только жалел, что тот уходит от поэзии и увлекается своими

„законами“, хотя самому ему идея Хлебникова—свести все явления к числу и ритму и найти общую формулу для величайших и мельчайших и, таким образом, высить мир до патетического—была близка.

Вскоре собрались и к Флоренскому—Хлебников, я и Кухтин.

Всем, бывшим в Сергиевом Посаде, известны блинные лотки. Не успеете вы заглянуть в крашенный (Юоновский) монастырь, вас выволакивают с ковровых санок торговли блинчиками и зовут куда-то направо, в Яр.

— Одиннадцатый.

— Восьмой.

— Тринадцатый. Не позабудь тринадцатый.—Этого только и нужно было Хлебникову.

Возглас „Тринадцатый“ вышиб его из санок.

(Тринадцать было его любимое число).

Еле уговорили мы его побывать все-таки в храме и тотчас же спустились в тринадцатый. Уселись. Спросили традиционных блинчиков.

И вдруг—цыганка. Да какая: тощая, глаза угольями, точно у Рублевских древних икон лицо. И прямо к нам. Меня по голове погладила, назвала „сиротой“ и хотя это было ни с чем несообразно,—я это внутренне почувствовал и принял.

Потом к Кухтину, что-то насчет его щеголезатой святости.

Виктором Владимировичем она занялась обстоятельно... Во-первых, совершенно неожиданно для нас, назвала его „коммерческим характером“,—я уже заподозрил было ее ясновидение,—потом что-то „о голове, которую он бросает, а сам ее за пазуху прячет“.

Чем дальше она говорила какой-то захлебывающейся скороговоркой, как бы не по своей воле, гипнотизируя наше внимание, именно этим медиумизмом каким-то, и выпаливала откровения о нем, держа нас все время в напряжении, наличность которого определилась, когда она ушла.

Кончила тем, что еще раз посмеялась над красивой бородой К., обозвала меня „сиротой“ и, уже погасшая от недавнего возбуждения, попросила денег. А, впрочем, на плате не настаивала и тотчас же ушла, так же неожиданно, как и появилась.

Стали спрашивать, кто она, где живет?

Узнали, что зовут Аграфеной, живет там-то. Отправились к о. Павлу. Немного подтянулись. Вошли, как школьники в келью отшельника. О. Павел не удивился, хотя не знал никого даже по имени. Разговор велся вокруг „законов времени“. Красноречивый Кухтин немного мешал хорошему молчанию. О. Павел говорил нам о своем „законе Золотого Сечения“, о том музыкальном законе по которому известная лирическая тема (настроение) у разных поэтов одинаково дает преобладание тех или иных шумов, строится на определенной шумовой формуле. После Хлебников подверг такому опыту пушкинский „Пир во время чумы“, кажется, это отпечатано в первом „Временнике“, издания „Лирень“.

О „Председателях“ Хлебников почему-то умолчал.

Вышли. Захотелось снова найти цыганку Аграфену. Нашли. И как же это вышло неудачно! Недаром пословица говорит: „Два раза не ворожить“.

Цыгане спали. Но раз их будят, значит, это надо, за это деньги платят. Стали шептаться между собой

о „хоре“, о „вине“. Мы с одним рублем на всех, после покупки в Троице деревянных кукол, чувствовали себя, как на иголках. Аграфена даже не узнала нас. Стала кольца у Кухтина сдирать...

Мы буквально бежали. — Куклы я раздарил обступившим меня цыганчатам, — это было все, чем могли мы компенсировать их за беспокойство.

В эту же ночь уехали в Москву.

Остались мы с Хлебниковым с гривенником в кармане (буквально). — Вермель был должен Хлебникову за рукопись „Ка 1“ для „Московских Мастеров“ по уговору 100 рублей.

Пошли к нему. Сказали. Тот что-то сунул Хлебникову в карман. Мы поднялись.

Выйдя из квартиры Вермеля, Хлебников вывернул карман, — выпал 1 бумажный рубль...

Меня это взорвало. Хлебников спокойно попросил меня вернуть этот рубль Вермелю.

Это было сделано мной сейчас же. Жест мой издатель „Московских Мастеров“ должен был помнить.

Вскоре после этого был обворован магазин Вермеля, что-то на сумму, кажется, в 50.000 рублей. Хлебников рассматривал этот случай, как закон фатальности („сердцебиения случая“).

Судьба мстила за него, помнила о нем. Он ходил и торжествовал.

Начались наши общие бедствия. Хлебников вскоре поселился со мной в моей маленькой комнате на Николс-Песковском, где я уступил ему кровать, а сам перебрался этажем ниже — на пол.

Из этого периода помню еще одну славную страничку. Хлебников как-то сидя у сестер Синяковых

предложил устроить кавалькаду, уговоривши своего брата дать имеющихся в его распоряжении кавалерийских лошадей.

Лошади были поданы. Стали собираться.

Виктор Владимирович чего-то искал и был озабочен. Оказалось, что Дмитрий Владимирович спрятал куда-то сибирскую доху, которую непременно хотел надеть Виктор.

Была оттепель, и доха никуда, безусловно, не годилась, да еще и при верховой езде. Но Хлебников был огорчен до слез, как ребенок которого лишили удовольствия.

В конце концов, он был все-таки в дохе и торжественно восседал на лошади.

Свое „столпотворение“, как выражался его брат, Хлебников вносил всюду с собой и заражал им окружающих, если его любили. Властвовать он любил и иного не переносил, какими бы средствами, хотя бы детскими капризами, это не достигалось.

К этому периоду относится повесть „Ка 2“, нигде не напечатанная, сохранившаяся отчасти у меня в моем почерке, списанном с его черновика, так как я часто переписывал вещи Велемира, боясь, что подлинники, как это всегда с ним случалось, он где-нибудь потеряет. К сожалению, он не всегда позволял мне это делать, и, я знаю, многое погибло и из периода его странствий со мной.

Чтобы дать внешний облик Виктора Владимировича, расскажу еще об утре и вечере на Николо-Песковском, обычных для всех дней нашей совместной жизни.

Мы оба любили пить кофе и в дыму постоянно горевшей спиртовки и пытящих трубок, мы оба

писали и время от времени перекидывались словами. Комната в два наших шага. (Росту мы были одинакового).

Иногда заходил наш квартирный хозяин, органист капеллы—Перов, он же преподаватель по химии, „холодный американец“, по определению Хлебникова. И спокойно, широкий и терпеливый, выслушивал „математическую ахинею“ Хлебникова. Спорили постоянно, что не мешало относиться друг к другу с симпатией.

Сидел Хлебников всегда скрючившись на кровати с ногами, поперек ее, и писал на своих лоскуточках каким-то невероятно мелким и убедительным почерком. Также, клюнув носом в колени, и засыпал он. Рассмотрев в один из творческих промежутков и сквозь облака дыма с противоположного конца, что Виктор Владимирович спит, я осторожно его окликал, предлагая раздеться и лечь. Уговоры производили несжиданное действие.

Хлебников прыгивал с кровати, повязывал свой синий, снятый перед тем галстук, снова принимал ту же позу йога и погружался в „нирвану“. Грустно было будить его. Так он и спал у меня в тот период большею частью. Иногда я сваливал его сонного в таком скрюченном положении на бок, и он постепенно распрямлялся. Но редко это удавалось.

По утрам самым трудным пунктом было умывание. Постоянно происходила такая сцена.

Хлебников стоял возле раковины и свободной рукой хлопал себя по губам, надувая при этом щеки. Получался звук вроде неудачной хлопушки. Проходило минут 10—20—30, он все стоял и шевелил странно подвижными на громадном лбу бровями.

Я старался высвободить из его рук мыло, чтобы умыться, по крайней мере, самому,—но рука сжималась еще крепче и Хлебников досадливо сверкал глазами. Тогда я подводил его к раковине и открывал воду. Шум воды будил его. Двумя пальцами (указательным и средним) свободной левой руки смачивал он надбровные дуги, кончик носа и оттопыренные губы, при этом фыркал и требовал полотенце.

После я стал прибегать к следующему способу: я подавал ему мокрое полотенце, он крепко-на-крепко вытирался им,—тогда я подавал сухое.

Воды Хлебников не боялся: что тут было такое? Очевидно, я выбирал неудачный для умывания момент. Наверно, после кофе и беседы у него выходило бы это лучше.

В один прекрасный весенний день Хлебников решил ехать на юг, в Крым. Билет был куплен до Симферополя.

На Курском, куда я его провожал, случилось то, чего должен всегда ожидать Хлебников—у него украли билет, деньги и вещи, жалкие вещи и рукописи в них. Я отстал от него, забыв купить перонный билет. Мне пришлось бежать за ним наверх. В эти-то 15 минут все и стряслось. Я застал отходящий поезд и бедного обезоруженного „Пуму“ на платформе...

Опять вернулись мы на Николо-Песковский и приступили к всеутешающему кофе и табаку. Хлебников писал в тот вечер о чорте, при чем выставлял его против обыкновения в самом жалком виде.

Дня через два удалось достать немного денег и Хлебников, изменив маршрут, поехал к себе в Астрахань. Пасху я провел один.

Через две недели получаю открытку из Царицына. Писал Хлебников:— „Король в темнице, король томится. В пеший полк девяносто третий, я погиб, как гибнут дети, адрес: Царицын, 93-й зап. пех. полк, вторая рота, Виктору Владимировичу Хлебникову“.

Я так и ахнул. Хлебников—солдат запасного полка в Царицыне? Пошел, сказал кое-кому, покрякали, покачали головой, да тем и ограничились. Пошел я к Золотухину, отдал ему свою какую-то украинскую думку, взял 15 руб. и отправился с тем в „пеший полк девяносто третий“.

1 мая приехал. Полк, говорят, — в лагерях, верстах в двух от города. Было воскресенье, день парада. Ходят взад и вперед по площади в одну десятину, целым полком топчутся на месте. выкидывают коленками. Насчитал я вторую роту. Вглядываюсь: где выкидываются бедные коленки Хлебникова?

Знает ли он, что кто-то тут ищет и жалеет его.

Вспомнилась мне сцена из „Тараса Бульбы“, хотелось крикнуть: „Чую, чую“.

Кончился парад. Пошел я по палаткам. Нашел вторую роту, ротного, взводного:—Где Хлебников?

— Выбыл, дескать, в чесоточную команду. Это в другом конце города.

Пошел по адресу. Какие-то бараки кирпичного цвета. Из окна высовываются солдатские усы, кричит:—Вы к Хлебникову?

Это меня озадачило:—Почему вы думаете?

— Брат, что ль, яво?

— Брат,—говорю.

— Я и то смотрю—сразу видно. Схожи.

Сходства меж нами не было, разве рост и цвет глаз.

Понадобилось обходить постройку. Ему уже, очевидно, сказали. Виктор Владимирович шел ко мне через двор, запихивая что-то в рот, и закрывая рот и ложку левой рукой. Обрадовался и так, не спросив ни у кого из начальства, пошел со мной. Я тоже обо всем этом позабыл, так был я потрясен его видом: оборванный, грязный, в каких-то ботфортах Петра Великого, с жалким выражением недавно прекрасного лица, обросшего и запущенного. Мне вспомнилось: „Король в темнице“...

Мы шли к гостинице, где я снял комнату.

Прохожие почему-то оглядывались и улыбались. Я осмотрел себя и Велемира. Оказалось, ложка с белой невыеденной кашей тщательно была спрятана Велемиром за спиной, он держал ее в загнутой назад руке. Я вынул ее осторожно, чтобы не возбудить его внимания и сунул себе в карман.

Он был без фуражки. У меня нашлась лишняя шляпа. Мы купили земляники и ели ее с молоком и чаем.

Я привез много новых книг с его стихами, в том числе „Московские Мастера“, „Четыре птицы“ и пр. Он жадно на них набросился, лицо его преобразилось, это опять был прежний мастер Хлебников. Он решил, что теперь, когда я уеду, он время от времени будет снимать номер в гостинице, сидеть и читать, воображая, что он приехал, как путешественник, и на день остановился в этой гостинице вполне беззаботный.

Вышли.

У трамвайной остановки откуда-то из-за угла выдвигается...

— Татлин!

— Здравствуйте, добродию!..

Хлебникова он не узнает, настолько тот жалок. Спрашивает: зачем я здесь?

Я обращаю его внимание на Хлебникова:

— Не узнаете?

— Хлебников!—дивится Татлин.

В этот же вечер „коммерческий характер“ Татлин придумал, что из нашей случайной встречи можно извлечь выгоду: пойти в театр об'явить, что приехали на гастроли московские футуристы и устроить вечер. Это было неизбежно: мне не на что было уехать.

Сказано—сделано. Идем сговариваться.

С того же вечера начали и лекцию сочинять. Сначала называлась она: „Мы скажем войне к но-ги-б!“ в Хлебниковской редакции.

Пошел я к полицмейстеру:

— Что? Как? Кто это мы? Как это „к но-ги-б“? Едва я ретировался.

Тут Татлин узнал, что можно без полицмейстера: есть какой-то военный цензор поляк, человек интеллигентный.

Название мы переменили на „Чугунные Крылья“. Текст тоже немного укоротили. Оставили хлебниковские числа и татлинские лопасти—Чугунные Крылья. Стихи всех футуристов.

Пошел, об'яснил ему, что о войне здесь без всяких опасных выводов, просто числовые формулы, законы времени, стремление отыскать его ритм; что Хлебников на основании своих изысканий о времени предсказал, например, войну, гибель Китченера (погибшего в те дни)—действительно, это так было.

Разрешение я получил. Напечатали афиши. Хотели рекламировать выступление, наняв верблюдов и раз'езжая на них по городу, но пороку нехватило.

На участие Хлебникова разрешения я не получил.

Сам ходил к седому полковнику, говорил, что Хлебников ни в каком случае не может быть рассматриваем на ряду с другими—что он мировое явление, обещал старика в газетах прохватить, особенно за то, что заставлял Хлебникова стоять в сапогах с гвоздями по 6 часов под ружьем так, что кровь ручьем текла из ног,— не помогло ничего.

Своим поведением я навлек еще большую немилость на Хлебникова, даже присутствовать на собственной лекции ему не разрешили.

Читал лекцию я, названный в афише Песнязем, помогал Татлин, названный, кажется, Зодчим.

Аудитория была пуста.

Сиделъ полковые шпионы ради сбежавшего из казарм Хлебникова и терроризованный мною полковник, да барышни из администрации.

Поместились мы с Татлиным между занавесью и рампой (декорации были какие-то уж очень неподходящие). Возле стоял перевернутый ломберный стол, в виде классной доски для чертежей и вычислений. Хлебников же проковырял для глаза и рта два отверстия в занавеси и суфлировал мне в трудных местах своих изысканий—таким шопотом, которого и сам, вероятно, не слышал.

Видел я только один большой, голубой и грустно-веселый глаз.

Да слышал, как он прыскал, когда я врал о Рамзесе и Абу-Темаме и спутал Матуаклина с Паякувием, называя последнего Пануквием.

Я как избавления ждал чтения стихов.

Стихи имели успех против моих ожиданий: хлопали „Виле“, „Полководцам“, „Цусиме“, даже полковник хлопал Маяковскому, Асееву, Бурлюку, мне.

Поднялся занавес, чтобы пропустить нас двух вглубь сцены и обнаружил не успевшего скрыться Хлебникова в позе „Сусанны перед старцами“; он закрыл лицо руками, как дети, которые думают, что скрылись, если глаза их спрятаны.

Выручили мы 229 рублей — двести пришлось отдать за зал, освещение, прислугу, афиши. Чистая прибыль была 29 рублей. Вышло опять любимое число Хлебникова, следовательно, все обстояло благополучно. Мы провели эту неделю, как беззаботные бродяги.

Тут о воде и Хлебникове: ходили купаться; Татлин, бывший моряком и простудивший ноги, моя палубу в холодные утренники, боится воды, я плаваю плохо. Хлебников — рыба.

Он долго сидит на берегу, как иог, в любимой позе — носом в колени и потом, вдруг, скатывается в Волгу и исчезает.

Сначала было страшно, потом я убедился: бояться нечего. Хлебников показывается саженях в шести от берега и сидит на воде, как на земле, носом в колени. Потом ложится на спину, вообще, он, по моему, держится на воде свободнее, чем на суше. Еще раз в эту неделю видел я Хлебникова блещущим всем остроумием и веселостью, когда им сочинялась эта лекция, и я с его слов набрасывал ее конспект. Сколько раз мы с'езжали в сторону от темы и было необычайно интересно следовать за ним и толкать его дальше и глубже.

Хлебникову нельзя было давать корректуры, он не исправит, а переписшет все заново, по-иному, в зависимости от случая этой „свежести“ — м. б., в этом он был похож на Сезанна, переписывавшего свои картины каждый день заново в зависимости от ветра.

... В одну из ночей мы проводили глазами согнутую, удаляющуюся спину Хлебникова, уходящего в свою „чесоточную команду“, я же уехал вверх по Волге.

В одно прекрасное время получаю письмо и узнаю: Хлебников в Астрахани, следовательно, освобожден, зовет к себе. „Приезжайте есть дыни, В. Х.“ Я собрался и поехал есть дыни.

Дело в том, что стараньями Кульбина и других друзей, которым Хлебников писал письма, удалось таки выручить его из чесоточной команды и из 93-го запасного полка. Его держали на испытании в Казанской больнице, где признали ненормальным настолько, что освободили от военной службы.

Нашел дом на Демидовской. Звоню. За дверью голос Виктора Владимировича:

— Петровский?

— Я.

Дверь отворяется. Я прошел. Хлебников довольный и радостный сообщает мне, что сегодня, комбинируя какое-то случайное стихотворение в местном листке, не то из начальных, не то из последних букв строчек, он сложил мою фамилию.

Он мне показывал: действительно, выходила моя фамилия и ничего другого не выходило. Это и дало ему основание, не отпирая двери и не видя еще кто пришел, спрашивать: „Петровский?“

Комната Хлебникова, где бы она не была, имела всегда один и тот же вид. Я описал ее уже ранее и прибавить больше нечего. Только на стенах ее здесь висели копии с открыток Елизаветы Бем, детские сюжеты, скопированные самим Велемиром.

Я просил пить. В двери открылось окошечко, вроде тюремного волчка — нам подали чай с карамелью. Так же было и с обедом. Происходило это, повидимому, не только от любви Хлебникова к от'единенности.

Жили мы впроголодь, так как приходилось делить один обед на двоих: я послал телеграмму домой и, пока шли деньги из Украины в Астрахань, — заложили мы с Хлебниковым его шубу. Ту самую новогоднюю шубу с елки, „шубу короля“, за 17 рублей в астраханском домбарде и отправились в степь разыскивать гору Богдо, уроненную святым и воспетую Хлебниковым в его „Хаджи-Тархане“, задолго до этого путешествия.

Хлебников дышал веками. Все окружающее занимало его не своим настоящим, а своим прошлым и будущим. Он фотографировал момент пробега будущего в прошлое и обратно. Всем известна его теория повторений точек во времени, ритма вселенной, ритма истории.

Вот маленькая иллюстрация: мы садимся на пароход из Астрахани на Черепаху (Калмыцкий поселок по Балде, одному из рукавов Волги в дельте у Каспия). Сидим на палубе и таем, как дыни во рту едока, во рту степного солнца и ласково доверяемся его теплым губам.

Таает весь пароход, заметно даже, как в зное воздуха испаряется река.

Рядом сидят чинные калмыки с лицами, истатуированными морщинами, при чем морщины эти симме-

трично испещряют смуглые лица белыми шрамами складок. Полное впечатление искусственной татуировки.

Степной человек, защищая лицо и глаза от палящего великого камня (солнца), молитвенно морщился. Его потомки, ушедшие в тень лесов, и потому разгладившие свои черты, стали искусственно вырезать себе следы своего великого „под-солнечного происхождения“.

В это время к нам приближаются два китайченка с известными гремящими трубками — жонглеры — и начинают:

Взбрасывать чаще и чаще
Круг трубок звенящих. (Божидар).

Важный калмык в шелковом халате достает серебряный рубль — „мордо“ русского императора — и бросает его в бубен, ласково щурясь, делая лицо совершенно похожим на выжимаемую губку. Это он выжимает все солнце ласки из своих солнечных пор. Хлебников говорит:

— Здесь важный потомок Великого Китая гордо хвастается перед далеким предком своим „талантом“, который он умножил в столкновении с белыми — нами. Это очень трогательно.

— Сейчас начнется Ассирия, — говорит, вспыхивая детским довольством своих открытий, „Пума“, когда мы под'езжаем к Хурулу на Черепахе.

На Ассирию башен нарек
Околицы с красной кровлей (Хаджи-Тархан).

Он отлично знает все, все стили — он универсален. Даже баклажаны, продающиеся здесь в большом количестве, заставляют его говорить о наших набегах сюда, выведших в Украину и Московию слово „баклага“.

Мы слезли на Черепахе, пересекли несколько калмыцких поселков, рыбацких промыслов и вышли в степь. У нас фляга с водой и немного хлеба. Ушли верст 70.

Здесь же в степи Велемир сочинил своего „Льва“, на одной из стоянок он записал его на лоскуточке. В степи же была изобретена „Труба марсиан“, взлетевшая через месяц в Харькове в издательстве „Лирень“.

Степь, солончаки. Даже воды не стало. Я заболел. Начался жар. Была ли это малярия или меня укусило какое-либо насекомое, не знаю. Я лег на траву с распухшим горлом и потерял сознание.

Когда я очнулся, ночь была на исходе. Было свежо. Я помнил смутно прошлое утро и фигуру склонившегося надо мной Хлебникова. Голое пустое место. Мне стало жутко. Я собрался с силами, огромным напряжением воли встал и пошел на запад. На пароходе добрался до Астрахани и до Демидовской.

Хлебников сидел и писал, когда я вошел к нему.

— А, вы не умерли? — обрадованно-удивленно сказал он.

— Нет.

В моем голосе и виде не было и тени упрека, я догадался в чем дело.

— Сострадание по вашему, да и по моему ненужная вещь. Я думал, что вы умерли, — сказал Велемир, несколько, впрочем, смущенный.

— Я нашел, что степь отпоет лучше, чем люди.

Я не спорил. Наши добрые отношения не поколебались.

— Сюда приехал цирк. Вы хорошо ездите верхом, можно заработать. Вы будете читать стихи с коня... „Конь и книга“.

Пошли в цирк.

Кстати скажу, что коня Хлебников обожал.

„Единственное из прирученных человеком животное, имя которого не стало ругательством“ — вот определение коня у Хлебникова.

Режьте меня,
Жгите меня.
Но так приятно целовать
Копыто у коня.

„И кнесь, и князь, и конь, и книга,
Речей жестокое пророчество.

Как незаметно нам их иго

И неизбежно точно отчество“,

Страну Лебедю вабуду я

И тени трепетных моревен

Про конедарство — ведь оттуда я —

Доверю звуки моей цеве.

Я мог бы привести десятки десятков примеров из стихотворений Хлебникова, где прекрасным персонажем — конь.

Даже привитое у нас греческое „икона“ он заподозревал в близости к столь чтимому предками звуку: кони. В одном из рукописных вариантов „Лебедии: иконы-книга — речей жестокое пророчество, незаметно нам их иго“.

Рыцарская, дерзкая голова коня постоянно мерещилась Хлебникову, как символ, как герб нашего равнинного человека. Коньки на крышах домов, коньки на носах челнов поволжских ушкуйников, „конек-горбунок“, кони в сказках, конь был его „коньком“. И то, что я был хорошим наездником, природно прилаженным к коню, в его глазах имело особую ценность.

Пошли в цирк. Я уговорился с дирекцией выступить и получить за получасовое выступление 15 рублей.

„Конь и книга“.

Вышло это недурно. Я прочитал Хлебниковскую: „Лебедию“, „Конную Пенную“ Асеева, свое „Бегство Мазепы“, „Смерть Андрия“ Асеева; четыре раза проезжал я на „бесседельном“ коне по кругу цирка. После меня ездила „Принцесса“ на слоне, в которую в мое смертное отсутствие в степи, влюбился Велемир, здесь же написавший и стихи о ней:

Бабочка смерти,
Бабочка снега
Кружится в красном
Жарком огне.
В хоботе слоновьем
Тоже есть нега...

(Хлебников ревновал ее к слону).

15 рублей получил я за вычетом 2 рублей на меня и Хлебникова, как зрителей первого ряда в остальных номерах. — Вышло опять 13.

● Так продержались мы до присылки мне денег из дому и выехали под Харьков,

Уже в первые дни революции получаю книгу, изданную в Харькове Петниковым—„Временик 2-й“ с текстом, якобы коллективным: Петников, Хлебников, Каменский, но по-моему, целиком—Хлебниковским.

Книгу, замечательную по широте революционного сдвига, где русская революция была впервые понята, как революция всего земного шара, но было в ней одно неудачное, возмутившее меня место.

Пропуск в „надгосударство звезды“ выдавался первыми: Рабиндранату Тагору, Вильсону и Керенскому. Упоминаю об этом потому, что вокруг этого завязывается целая петроградская история,

После ухода из армии я поступаю вместе с братом своим рабочим в Александровские Паровозо-Строительные мастерские, с определенным намерением быть вместе с рабочими в борьбе с лживой коалицией.

И вдруг без моего письма, по одному преодолевающему пространство знаку, Велемир, садится в Астрахани в поезд, с намерением ехать в Петроград, где ему, казалось, абсолютно ничего не нужно было. В день когда приехал в Петроград Хлебников, совершенно оторванный от меня, потерявший всякий след моего существования—я чувствовал волнение ожидания. Из своей Смоленки я поехал на Каменноостровский к Матюшину и, не удовлетворившись, пошел к Эндеру, недалеко на Александровский.

Через полчаса после меня к Матюшину зашел Хлебников, утром приехавший в Питер, и прямо спросил обо мне. Матюшин направил его к Эндеру. Раздался звонок, и я встретил и обнял Хлебникова. Он был в жалкой солдатской шинели и такой же фуражке, обросший бородой и пепельными светлыми кудрями, но страшно возбужденный с каким-то спрашивающим лицом. Мы вышли и как-то без слов решили итти вместе и итти к нам. Хлебников даже не спросил куда и бодро шагал все пятнадцать верст.

В нашей обстановке он искал и ждал от нее определенного события. Именно в эту ночь, в эту прогулку он окрестил улицу, на которой мы жили, „Честной дорогой“, и адресовал после свои письма моему брату, не считаясь с возможностью их пропажи, вместо Екатерининской улицы—Честная дорога.

Однажды, возвращаясь из Питера в свой фабричный поселок, я встретился на углу улицы с цыганкой. Она

была так неожиданна и так неожиданно прекрасна, что, придя домой, я рассказал об этом Велемиру.

Он тотчас же зажегся желанием разыскать ее.

Прогуливаясь по болоту, тянущемуся от нас до Волкова кладбища, он набрел раз на цыганские шатры. Он знает—она оттуда: идемте к ней.

Мы отправляемся.

Действительно, через полчаса ходьбы в разных направлениях в вечерющем поле, мы нашли цыганский табор.

Подошли к одному шатру, у огня которого люди сидели погуще. Это были исключительно женщины. Нет, они не были хороши!.. Вскоре к шатру подошла моя красавица. Хлебников, немного разочарованный, оживился. Я немного знал по-цыгански и предложил поворожить мне. Я протянул ладонь.

Цыганка отвечала мне по-французски и вспыхнула, когда я достал керенку и бросил одному из детей: мне ее швырнули обратно. Я оглянулся на „Пуму“ — он весь зрение. Он любовался цыганкой и был уже влюблен. (Влюблялся Хлебников невероятное количество раз, но никогда не любил по-настоящему). Об одной очень интересной влюбленности Хлебникова пришлось бы говорить несколько больше,—она отозвалась на его творчестве периода с 1914 по 1916 годы; следом этой влюбленности оставалось прозвище „Пума“).

Хлебников заговорил с цыганкой по-французски, она свободно отвечала: красавица об'яснила, что они—французские цыганы, и что-то очень путаное, как они очутились здесь.

Хлебников уже вел переговоры о том, чтобы остаться в их таборе. Он был необыкновенно изобретателен

во французских комплиментах и, я думаю, никогда в жизни не извлек столько пользы от знания французского языка. Между тем, я, плохо понимавший этот отчасти ломаный французский разговор, объяснялся на таком же ломаном цыганском языке. Запас цыганских слов у меня обширен, но в живую цыганскую речь все же обратить его невозможно: тайна цыганской грамматики—тайна, очевидно, и для них самих.

Болтая таким образом, мы и не заметили, что попали в ловушку. Случайно взглянув на Хлебникова, я был поражен его неожиданной бледностью. Я оглянулся, чувствуя опасность позади нас, и, признаться, тоже испытал неприятную минуту.

Во мраке, едва освещаемые костром, стояли пять человек мужчин с прекраснейшими черными бородами, одетые в странно перемешанные с цыганскими синими цветами европейские костюмы. У них, например, были воротнички (не первой, правда, свежести) и на некоторых (?0—а?)—цилиндры. Черные бороды особенно зловеще рисовались на белых жабо в малиновом отливе вечернего костра и жутко чертились контурами цилиндров на звездах. (Мы сидели и были ниже их, в то время как они стояли).

У каждого в руках было по странному архаическому пистолету, при чем первая и, очевидно, самая главная фигура была склонена и возилась с замком своего дикого оружия, приподняв для удобства коленку и приплясывая на одной ноге. Они были взволнованы и что-то угрожающе бормотали, сверкая белками то на нас, то друг на друга.

Я знал, что малейшее резкое движение приведет к непоправимому, и тихо сказал „Пуме“:

— Сидите спокойно, постарайтесь заговорить с ними по-французски.

Хлебников стал громко говорить цыганке о том, что он великий русский поэт, Велемир, и, что то, что он здесь видит, его очень удовлетворяет: он любит Францию, ее язык, нравы и рад, что встречает, в добавление ко всему этому, французских цыган. Он собственнно думает, что они испанцы, в Испанию он соби-рался и тоже очень ее любит.

Цыган, зарядивший, наконец, свой пистолет, подошел и крутнул Хлебникова за плечо так, что тот неожида-нно для себя встал:

— Пошли вон, полицейские сволочи!

И поднял пистолет.

Тут ничего не оставалось, я тоже вскочил и, схватив за руку цыгана, сказал ему: „Кемасп, ромале“ (любовь человек!) Эти неожиданные в моих устах, родные слова огорошили цыгана, вряд ли он понял их смысл.

О, как пригодилось нам знание стольких языков!

Мы возвращались, вполне удовлетворенные роман-тической обстановкой. Звезды полыхали над нами нашим пережитым волнением, слишком по южному для петроградского холодного неба.

Когда мы уже отошли на расстояние полуверсты, вслед нам раздался выстрел одинокий и безуспешный...

Что тот сулил нам мавр заката,
Цыганский табор и шатры.
Те, заряжая пистолеты,
Позади женщины хитры...

Эти четыре строчки бисерным почерком нашел я потом на валявшемся под столом лоскуточке и сей-час они живо напомнили мне эту сцену.

А вот еще один образ этой ночи затерялся где-то в „морском берегу“.

...Туса, туса, туса,
Мен дада цацо...
Черные улицы
Пуля цыганкой из табора
Пляшет и скачет у ног.

В моей редакции последние строчки читались так:

Пума умчанкой из табора
Пляшет и скачет у ног.

Это—оттуда.

Вообще произведения Хлебникова, это—мозаика его биографии.

Я упоминал уже об неудачном хлебниковском выборе, когда он в первой своей революционной „трубе“ великодушно дал пропуск в будущее „надгосударство звезды“ Вильсону и Керенскому наравне с Тагором. Ошибка эта об’яснилась, главным образом, тем, что Хлебников, для которого, как я ранее говорил, все пешки в игре были хороши, он не разбирал из каких лоскутков сшита данная кукла. Раз ему необходимо было заполнить свой звездный трон, он брал метнувшееся перед глазами имя и вклеивал его в углу. Но за эту ошибку он, видимо, жестоко расплачивался: его мучило, что эта „обязьяна“ обманула его надежды.

В первую же встречу, в ту ночь, когда мы шли 15 верст с загадочным видом, я как-то вскользь упрекнул его, сказав о Керенском:

— Преступник.

Хлебников одобрительно мотнул головой, видимо, не желая распространяться о больном, как потом оказалось, вопросе.

На другой день я заметил в своем „Временнике“ бисерным почерком: „Изгнать, как преступника. В.Х.“ над перечеркнутой фамилией Керенского.

Позже Хлебников изобрел свое название для „Президента Республики: „Главнасекомствующая на солдатских шинелях“. С таким титулованием он обращался к Керенскому в своих письмах и при этом называл его в женском роде, находя особое удовольствие в совпадении имен его и бывшей царицы.

Не лишено интереса следующее событие.

Шла воинская поверка.

По документу „Пума“ числился: ратник второго разряда.

— Проклятая победоносная обезьяна, — шептал „Пума“.

Но каждый день приходил из участка человек, как будто его специальной ролью было терзать Хлебникова и спрашивал:

— А что, отметочка имеется?

Решено было итти на Владимирский проспект. Я взял его под опеку: отправились вдвоем.

Приходим.

Велемир пред'являет свой документ: ему тридцать два года.

— Ему еще нет сорока? Тогда он годится для революционной армии, — об'ясняет ему золотопогонник.

— А сколько лет товарищу Керенскому? — задает невиннейший вопрос Хлебников.

Ему отвечают:

— Тридцать один.

— Следовательно, сначала пойдет на военную службу товарищ Керенский. А в следующую очередь я.

На него раскрывают глаза обалдевшие золотопогонники.

— Что вы изволили сказать?

— Я на военную службу не пойду.

В это время я, сообразив, что дело кончится или очень смешным скандалом или новой царицынской пыткой для Хлебникова, поднимаю панику, говоря:

— Вы не слышите? — вонь! Где-то горит, где-то горит!

— Ага, вон виден и дым!

Все устремляются к выходу и выносят в давке меня и Хлебникова. Мы сразу ставим паруса и исчезаем за поворотом в переулке. При чем наталкиваемся с разбега на генерала.

Я в форме артиллерийского вольноопределяющегося, но не только не станавлюсь во фронт, не только не козыряю, а сбиваю его с ног и лечу дальше.

Генерал подымается до того ошеломленный, что вопить начинает, когда мы от него на пушечный выстрел.

Я оборачиваюсь и тогда уже слишком весело становлюсь во фронт.

Это первый, чуть чуть захлестывающий берега вал утреннего прибоя. Через две недели эти валы сбивали серьезнее. Генералы переставали вопить:

— Этот пожар меня спас,— говорит наивный „Пума“, когда мы садимся в трамвай.

— Только я все таки его не видел.

Я смотрю на него.

Он начинает понимать в чем дело.

— Это вышло недурно,— одобряет он, продолжая относиться все еще лишь созерцательно, как будто речь идет не о его спасении.

Я говорю ему:

— Этому надо положить конец: ведь завтра опять придут из участка проверять ваши документы.

— Да...

— ???

Хлебников таращит глаза в какие-то дали и, очевидно, обмозговывает положение. Наконец, ему приходит в голову: он прыскает сам от одной своей мысли, как ребенок, и коротко бросает:

— Мы устроим „высекновение“.

Я сразу не понимаю в чем дело. Но больше ни слова! Конспирация! Это трамвай!

Только дома Хлебников, усевшись в свое кресло, с чехлом из украинских полотенец, которое он очень любил, посвящает нас в свои проекты относительно „главнонасекомствующей“, не оправдавшей его великодушного доверия.

Проекты были следующие;

1. Заказать игрушечным мастерам пищащих чортиков с физиономией „главнонасекомствующей“.

— Это будет очень ходовой товар! — Керенский дуется и в писке умирает.

2. Сделать чучело Керенского и с тождественной демонстрацией нести ее на руках до Марсова поля, где, положивши недалеко от братской могилы, высечь так, чтобы стоны секомого слышали павшие в феврале с его именем на устах. Это-то и было „высекновение“ (на манер усекновения, чтобы передать торжественность обстоятельства). Стоны должны быть исторгаемы нанятым для этого рыдальщиком или кем-нибудь из „придворных сестер милосердия“ или „ударниц“, которым и без того захочется стонать, думая, „что

она живая"! Масса подробностей. Есть даже запись проектов.

3. И самое существенное,— был предложен следующий способ „свержения“: кто-нибудь из нас (трех) отправится в Таврический дворец и, вызвав Керенского в кулуары, даст ему пощечину от всей России. Жребий не метался только из-за сгустившихся опять сумерок. Стихия сама нашла себе выход. Мы были только отражателями.

Вот рассказ об этом самого Хлебникова:

ОКТЯБРЬ НА НЕВЕ

Под грозные раскаты в Царском Селе прошел день рождения. Когда по ночам, возвращаясь домой, я проходил мимо города сумасшедших, я всегда вспоминал виденного во время службы безумного рядового Лысенка и его быстрый шопот:

— Правда е, правда не, правда есть. Правда не... Все быстрее и быстрее делался его учащенный шопот, тише и тише безумный прятался под одеяло, уходил в него с подбородком, скрываясь от кого-то, сверкая только глазами, но продолжая сверкать нечеловечески быстро. Потом он медленно подымался и садился на постель; по мере того как он подымался, шопот его становился все быстрее, громче, он застывал на короточках с круглыми, как у ястреба, глазами, желтея ими, и вдруг выпрямлялся во весь рост и, потрясая свою кровать, звал Правду бешеным, разносившимся по всему зданию глосом, от которого дрожали окна:

— Где Правда? Приведите сюда Правду, подайте Правду. Потом он садился с длинными жесткими усами

и круглыми глазами желтого цвета, тушил искры пожара, которого не было и ловил их руками. Тогда сбегались служители.

Это были записки из Мертвого поля, зарницы отдаленного поля смерти — на рубеже столетий.

Силач—он походил на пророка на больничной койке.

В Петрограде мы вместе встречались. Я, Петников, Петровский, Лурье, иногда забегал Ивнев и другие председатели.

— Слушайте, друзья мои. Вот что: мы ошибались, когда нам казалось, что у чудовища войны остался только один глаз; и что нужно только обуглить бревно, отточить его и общими силами ослепить войну, а пока прятаться в руне овец.

— Прав ли я, когда говорю так? Правду ли я говорю?

— Правильно,—был ответ.

Было решено ослепить войну.

Правительство Земного Шара выпустило короткий листок, подписи: Председатели Земного Шара на белом листе, больше ничего.

Это был его первый шаг.

„Мертвые, идите к нам и вмешайтесь в битву. Живые устали“, гремел чей-то голос: „пусть в одной сече смешаются живые и мертвые. Мертвые, встаньте из могил“.

В эти дни странной гордостью звучало слово „большевичка“ и скоро стало ясно, что сумерки „сегодня“ скоро будут прорезаны выстрелами.

Дмитрий Петровский, в черной громадной папаше с исхудалым прозрачным лицом, улыбался загадочно:

— Чуешь? — Шо воно диється. Нияк в толк не возьму? — говорил он и загадочно набивал трубку

с тем видом, который ясно говорил, что дальше не то еще будет.

Он был настроен зловеще.

Кто-то из трех должен был пойти в Зимний дворец и дать пощечину Керенскому.

Я слышал о нем удивленный отзыв: „Всего девять месяцев пробыл, а так вкоренился, что пришлось ядрами выбивать“. Чего он ждет? Есть ли человек, которому он не был бы смешон и жалок?

В Мариинском дворце заседало Временное Правительство и однажды туда послано было письмо: „Здесь Мариинский дворец. Временное Правительство. Всем. Всем. Всем. Правительство Земного Шара на заседании своем от 22 октября постановило: 1) Считать Временное Правительство временно несуществующим, а главнонасекомствующую А. Ф. Керенскую находящейся под строгим арестом.

Как тяжело пожатье каменной десницы. Председатели Земного Шара: Петников, Лурье, Дм. и П. Петровские, статуя Командора—я (Хлебников)“.

Другой раз послали такое письмо: „Здесь. Зимний дворец, Александре Федоровне Керенской. Всем. Всем. Всем... Как? Вы еще не знаете, что Правительство Земного Шара уже существует? Ах, так вы не знаете, что оно существует. Правительство Земного Шара. Подписи“.

Однажды мы собрались вместе в академии (художеств) и, сгорая от нетерпения, решили звонить в Зимний дворец.

— Зимний дворец? — Будьте добры, соедините с Зимним дворцом.

— Зимний дворец? — Это артель ломовых извозчиков.

— Что угодно?—холодный, вежливый, но невеселый вопрос. Ответ:— Союз ломовых извозчиков просит сообщить, как скоро собираются выехать жильцы из Зимнего дворца.

— Что, что?—вопрос.

Ответ:— Выедут насельники Зимнего дворца?... К их услугам.

— А больше ничего?—слышится кислая улыбка.

— Ничего.

Там слышат, как здесь хохочут у другого конца проволоки я и Петников.

Из соседней комнаты выглядывает чье-то растерянное лицо.

Через два дня заговорили пушки.

Как-то в Мариинском ставили Дон-Жуана и почему-то в Дон-Жуане видели Керенского. Я помню, как в противоположном ярусе лож, люди вздрогнули и насторожились, когда кто-то из нас (я) наклонил голову, кивая в знак согласия Дон-Жуану раньше, чем это успел сделать командор (около занавеси)...

„Аврора“ молчаливо стояла на Неве против дворца, и длинная пушка, наведенная на него, походила на чугунный неподвижный взгляд—взор морского чудовища.

Про Керенского рассказывали, что он бежал в одежде сестры милосердия и что его храбро защищали воинственные девицы Петрограда, его последняя охрана. (Удалось напророчить, называя его ранее Александрой Федоровной).

Невский все время был оживлен, полон толпы и на нем не раздавалось ни одного выстрела.

У разведенных мостов горели костры, охраняемые сторожами в огромных тулупах, в козлы были составлены

ружья и беззвучно проходили черные, густые ряды моряков, неразличимых ночью, только видно было, как колебались ластовицы. Утром узнавали, как одно за другим брались военные училища. Но население столицы было вне этой борьбы.

Совсем не так было в Москве, где я опять нашел скитавшегося Петровского, мы выдержали недельную осаду. Ночевали, сидя за столом, положив головы на руки, на Казанском. Днем попадали под обстрел на Трубной и на Мясницкой. Другие части города были совсем оцеплены.

Все же, несколько раз остановленный и обысканный, я однажды прошел по Садовой всю Москву поздней ночью.

Глубокая тьма изредка освещалась проезжавшими броневиками, время от времени слышались выстрелы — и вот перемирие заключено. Вырвались пушки. Молчат.

Мы бросились в голоде улиц, походя на детей, радующихся снегу, смотреть на морозные звезды простреленных окон, на снежные цветы мелких трещин, кругом следы [пуль, шагать по прозрачным, как лед, плитам стекла, покрывавшим Тверскую.

Удовольствие этих первых часов собирания около стен у кремлевских храмов скорченных пуль, скрюченных, точно тела сгоревших на пожаре бабочек, осколков шрапнели.

Видели черные раны дымящихся стен.

В одной лавке видели прекрасную серую кошку; через толстое стекло она, мяукая, здоровалась с людями, заклиная выпустить; долго же она пробыла в одиночном заключении.

Мы хотели всему дать имена. Несмотря на чугунную ругань, брошенную в город Воробьевыми горами, город был цел.

Я особенно любил Замоскворечье и четыре заводских трубы, точно свечи твердой рукой зажженных здесь, чугунный мост и воронье на льду. Но над всем золотым куполом господствует, выходящий из громадной руки, светильник четырех заводских труб, железная лестница вдоль полых башен ведет на вершину их, по ней иногда подымается человек—священник, свечей перед лицом из седой заводской копоти. Кто он, это лицо? Друг или враг? Дымописанный лоб, висящий над городом? Обвитый бородой облаков?

И не новым ли черноокая Гуриэт Эль Айн посвящает свои шелковистые, чудные волосы, тому пламени, на котором будет сожжена, проповедуя равенство и равноправие?

Мы еще не знаем, мы только смотрим. Но эти новые свечи неведомому владыке господствуют над старым храмом.

Здесь же я впервые перелистал страницу книги мертвых, когда видел вереницу родных у садика Ломоносова в длинной очереди и целую улицу, толпившихся у входа в хранилище мертвых.

Первая заглавная буква новых дней свободы так часто пишется чернилами смерти.

Виктор Хлебников.

Перед октябрьскими днями я приехал в Москву и поселился у Татлина.

На Земляном Валу натыкаюсь на Хлебникова с узелком в руках:

— Здесь вам посылка, махорка и белье, — заявляет он.

Я сообщил ему в каком положении Москва (он только что слез с Николаевского вокзала) и, желая оградить его от опасности, потащил к Татлину.

Мне очень хотелось самому принять участие в борьбе и я несколько раз боролся с искушением пойти взять винтовку в районе, но мне не хотелось оставить бездомного „Пуму“, всегда требующего некоторого чужого участия в его обычной жизни, почти опекунства, так как был он рассеян до крайности.

Оказалось, он был храбр и в опасности совершенно хладнокровен. Приведу следующий случай. Зашли мы в татарскую харчевню на Трубной площади (у Хлебникова, да и у меня было пристрастие ко всему восточному). Спросили порцию конины. В это время раздался настолько сильный залп по харчевне, что стекла вылетели. Мы сидели за столиком, попавшим в полосу обстрела: стакан на столе у нас был разбит пулей вдребезги.

Я остался сидеть, несколько лишь выпрямившись — в чем выражалась у меня готовность к фатальности случая. Хлебников же встал и стал рассматривать с удивительным хладнокровием и любопытством копошившихся в ужасе на полу татар, урчащих свои молитвы громким шопотом.

Залп, к счастью, был только один, случайный, из проезжавшего мимо грузовика, и все обошлось сравнительно благополучно. Ранен был только мальчишка, подававший нам конину и тот заорал от боли только тогда, когда все успокоилось. Так был загипнотизирован он массовой паникой!..

Хлебников ужасно хохотал. Мы вышли.

Он решил идти в гости к Н. В. Николаевой и оставил меня одного.

Хлебникова я потерял из виду.

Вдруг слышу, кажется, от Каменского, что Хлебников отлично устроился, что он живет на Воздвиженке у булочника Филиппова на иждивении.

Вечером того же дня отправился я к Велемиру.

Он вышел ко мне со вкусным недоеденным пирогом в руке, и, поняв по моему голодному, жадному взгляду, что я голоден,—протянул его мне.

Я здесь же, в прихожей Филиппова, съел его.

Хлебников только что встал из-за обеденного стола ко мне и торопился возвратиться. Ему было, очевидно, досадно, что пригласить меня к столу, он, пожалуй, не может, хоть и знает, как я в этом нуждаюсь,—к тому же взоры мои показались ему гневными, и он вдруг выпалил:

— Вы еще недостаточно известны, чтобы рассчитывать на мецената.

Тут я вправду вспылал и, не сказав ни слова, вышел. Как попал Хлебников к Филиппову, что с ним случилось, и каковы были причины такой спесивости, подробностей не знаю.

Но, очевидно, по рекомендации Бурлюка и Каменского получил Хлебников заказ написать роман от проектируемого издателя-мецената Филиппова и, ему для выполнения заказа предоставлен был № в гостинице „Люкс“ на Тверской и стол у самого мецената.

№ своей комнаты Хлебников сказал мне еще в первое свидание у Филиппова. Как-то в трудную минуту зашел я к нему. На двери записка: „Прием от 11

с половиной до 12 с половиной часов дня“. Был час. Я решил, что ко мне это не относится и позвонил.

Хлебников вышел и сердито указал на записку, — он что-то ворчал об „анархизме“.

Тогда я коротко ответил:

— Рубль.

Хлебников был сражен. Он впустил меня. Потребовал неисчислимое количество стаканов кофе и дал нужный мне „рубль“. Я ушел. Приехал из Петербурга мой брат, заболел. Петников пошел к Хлебникову, занял у него денег и мы сняли № в гостинице „Охотоярское подворье“.

Вызвали туда Велемира и в то время, как брат лежал в жару, принялись „чистить“ Хлебникова за ничем неоправданную холодность к нам, ренегатство и т. д.

Тот сначала прятался в какую-то свою скорлупу, но после заговорил „по-человечески“ и рассказал, что сам он в „идиотских условиях“.—Его заставляют писать какой-то роман в то время, как ему хочется заняться вычислениями (законами времени), и что это его бесит. Вот и все. Свет ему не мил.

Расстались по-хорошему.

На рождественские святки все мы раз'ехались по домам, остался только Хлебников, все там же, у Филиппова.

Помню еще одну характерную сценку из этого периода. Открылась выставка „Бубнового Валета“. Я должен был выставить там портрет брата. Зашел туда и был свидетелем сцены в коридоре:

Хлебников стоит боком у окна, а на него поочередно нападают Д. Бурлюк и В. Каменский:

— Скоро ли роман?

Тот что-то бормочет, потом не выдерживает и заявляет:

— Никакого романа не будет. Я занят вычислениями.

Чем это кончилось, не знаю, очевидно, меценат не стал благодетельствовать бесполезному человеку.

Вычисления этого времени напечатаны были во „Временнике 4“, изд. Василиском Гнедовым, с которым мы все: Велемир, я, Петников встречались в это время.

После святок Хлебникова в Москве я не застал и встретился с ним только в апреле 18 г. Все и всюду было в стадии организации, и я предложил Хлебникову войти с „декларацией творцов“ перед молодым государством, в частности перед А. В. Луначарским. Декларацию мы написали вместе; чтобы дать понятие, насколько она была фантастична, упомяну только об одном положении: „Все творцы: поэты, художники, изобретатели должны быть объявлены вне нации, государства и обычных законов. Им на основании особо выданных документов должно быть предоставлено право беспрепятственного и бесплатного переезда по железным дорогам, выезд за пределы Республики во все государства всего мира. Поэты должны бродить и петь“.

Конечно „декларация творцов“ была забракована одним заседанием.

За весь этот период встречался я с Хлебниковым только два раза и оба раза в Харькове.

Я провел с ним неделю в одной комнате. Он очень интересовался моим участием в революции, спрашивал о быте партизан (очевидно, у него была и какая либо корыстно-творческая цель). И сам мечтал

принять деятельное участие в революции. Я знал, конечно, что в действие это не перейдет, слишком он был рассеян в жизни, сосредоточен в себе и созерцателен. Думаю, что в этот период работал он над чем-то очень интересным. Отрывки, которые мне пришлось видеть, были исключительны по грандиозности замысла и раскрытия.

Второй раз больно вспоминать.

В 1920 году летом попал я случайно в Харьков. Нашел Петникова и от него узнал, что Хлебников тут, но видеть его неинтересно. Пошел я и все-таки разыскал его.

Хлебников был в одном нижнем белье из грубого крестьянского холста, без шапки. Грязный, загорелый, обросший и взлохмаченный он видом походил на юродивого.

Держался он в этом костюме свободно, — очевидно, долгие месяцы ходил в этих отребьях и привык к ним.

Был мне рад и подарил только что отпечатанную на гектографе книжечку „Ладомир“ с трогательной лаконической надписью. Расспрашивал меня опять о „правде революции“, зная, что отвечу прямо и честно.

Его угнетала революция, как она выявлялась тогда, но не верить он не хотел и бодрился.

За этот год он перенес 2 тифа, 2 тюрьмы, белую и красную, и те и другие принимали его за шпиона (документов Хлебников никогда не имел), холодность друзей к „неряхе“.

Хлебников собирался в Персию. Мы расстались, сказав друг другу: „Непременно встретимся на круглом шаре“... и больше не встретились...

И последним приветом его мне, последним жестом и взмахом платка „оттуда“, из времени, куда унес его

корабль, была коротенькая надпись на моем портрете у Крученых:

„Где твой кроваво-радужный жупан. Сего разбойника добре знаю“..

Я, бродивший с ним рука об руку, я, ссорившийся десяток раз на дню из-за выеденной скорлупы, где больше возможности близости, чем во всяких других отношениях—знаю в какую маску прятался Велемир.

Явно никогда никому не открыл он своей миссии, но люди с душевной и духовной предуготовленностью к новому, что просочилось в современность, чуяли проходящего Великого, очень в сущности неудобного и досадно-неприспособленного, обременявшего их часто человека, все ж с неожиданной для них самих откуда-то вытекавшей почтительностью, склонялись перед ним и грубо толкнуть не смели.

Скажу, что слышал даже от солдат, от тех самых взводных, которые ставили его под ружье в мучительных сапогах с гвоздями, что обидев его, они терзались мимовольно и, в конце концов, что-то поняв своею свежей простой и вместительной русской душой о нем, стали почтительными к „грязнюхе“ и „чудаку“, не умевшему застегнуть правильно пуговицы шинели.

Вспоминаю, как удивлен был я, когда однажды, пользуясь отсутствием Виктора Владимировича из казармы, разговорился с его товарищами по команде и, разъясняя им, какую ценность для России представляет этот серый, согбенный человек, увидел, что этого только они лишь ждали, чтобы осмелиться сказать вслух то, что давно уже поняли о нем.

Я проговорил с ними целую ночь и очень жалею, что не записал тех редких,—простых и в то же время

незаменимых, — определений Хлебникова, которые я слышал от нескольких десятков его товарищей по солдатчине в Царицыне.

Позже Хлебников мне рассказывал, что после моего от'езда из Царицына, не было конца внимательности, которую проявляли к нему его товарищи.

В те же ночи, что он ночевал у меня, сочиняя лекцию „Чугунные крылья“, они устраивали чучело на пустом его ложе, чтобы спасти живое „чучело“ от последствий грозного обхода начальства.

Многие из них на галерке, пробравшись с большими трудностями, отчасти при содействии самого „Пумы“, аплодировали ему и особенно его стихам; в тот вечер он был их гордостью.

Что Хлебников был близок народу, это удивительно. Народ, вернейший экран для отражения ценности отдельного индивидуума.

Не перечисляя всех примеров, утверждаю, что это было, и было для меня настолько важным, что помогло в минуты шаткости, не отойти и не извериться в Велемире.